

Иванов Андрей Анатольевич

ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКУРСА СУБЪЕКТИВНОСТИ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 30-40-Х ГОДОВ XIX ВЕКА

В статье рассматривается процесс формирования дискурса личности в русской культуре первой половины XX века. Определяются социальная среда и ключевые фигуры, участвовавшие в производстве дискурса; выделены и охарактеризованы романтический и реалистический этапы формирования дискурса. Основное внимание уделено философским и литературным факторам перехода от "романтической" модели субъекта к парадигме "действительного человека".

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2014/10-2/16.html

Источник

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2014. № 10 (48): в 3-х ч. Ч. II. С. 70-75. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2014/10-2/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

сотрудниками Государственного республиканского центра русского фольклора [10]. В основу сборников легли экспедиционные, архивные, аналитические материалы разных лет, представляющие локальный этнокультурный срез. Второй том содержит двенадцать музыкальных расшифровок напевов и наигрышей, классифицированных по функциональному признаку: под пляску, под проходку, под танец. Обширны текстовые расшифровки, скомпонованные по тематическим группам.

Представленный обзор источников иллюстрирует малую степень изученности владимирской частушки как филологами, так музыковедами, подчёркивая актуальность исследований на данную тему.

Список литературы

1. Балов А. Экскурсы в область народной песни // Этнографическое обозрение. 1897. № 2. С. 92-119.
2. Водарский В. А. Частушки. Владимир: Типография губернского правления, 1914. 112 с.
3. Касаткина Е. Частушки, собранные во Владимирской и Костромской губерниях. Владимир: Типография губернского правления, 1914. 16 с.
4. Коробов Я. Е. Народная песня в северной части Покровского у. (из записей старожила) // Старый Владимирец. 1913. № 192. 3 сентября.
5. Поляков К. А. Переписка с М. К. Северским (артист) за 1926 год (на 6 листах). Ф. 2918. Оп. 1.
6. Сергиевский П. А. Местное народное творчество: легенды, частушки, народная лирика // Мстёрский край: сборник краеведческих материалов. Владимир: Издание Владимирского губернского научного общества по изучению местного края, 1929. С. 78-81.
7. Сперанский Н. Об упадке народного песенного творчества (с. Болгачёво Владимирского у. Подольской вол.) // Владимирские губернские ведомости. 1897. № 19. 9 мая.
8. Странанье // Старый Владимирец. 1913. № 192. 3 сентября.
9. Традиционная культура Гороховецкого края: в 2-х т. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2004. Т. 2. 632 с.
10. Традиционный фольклор Владимирской деревни (в записях 1963-1969 гг.) / отв. ред. и авт. введ. Э. В. Померанцева. М.: Наука, 1972. 215 с.
11. Фольклор Ярополя: сборник материалов фольклорной экспедиции по Вязниковскому району Владимирской области. Владимир, 2000. 72 с.

VLADIMIR CHASTUSHKA IN PUBLICATIONS AND ARCHIVES

Zakatova Marina Aleksandrovna

Saratov State Conservatory (Academy) named after L. V. Sobinov
zakatova_m@mail.ru

The article touches on the major periods of collecting and publishing Vladimir chastushka based on the analysis of bibliographic and archival sources. This stage is a fundamental one in studying the traditional forms of the genre functioning within the framework of the investigated tradition. Its importance is determined by the historical and ethnographical value of findings representing chastushka as a sociocultural phenomenon of the end of the XIX – the beginning of the XXI century.

Key words and phrases: traditional culture; ethnography; regional studies; archival studies; manuscript; Vladimir chastushka.

УДК 008(091)

Философские науки

В статье рассматривается процесс формирования дискурса личности в русской культуре первой половины XX века. Определяются социальная среда и ключевые фигуры, участвовавшие в производстве дискурса; выделены и охарактеризованы романтический и реалистический этапы формирования дискурса. Основное внимание уделено философским и литературным факторам перехода от «романтической» модели субъекта к парадигме «действительного человека».

Ключевые слова и фразы: субъект; объект; дискурс; действительность; целостность; символическая интеграция.

Иванов Андрей Анатольевич, к. культурологии

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
larsandr@mail.ru

ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКУРСА СУБЪЕКТИВНОСТИ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 30-40-Х ГОДОВ XIX ВЕКА[©]

Каждая культура формирует и транслирует присущую ей антропологическую модель – образец самопознания и самоидентификации носителя данной культуры. В культуре модерна такой антропологической

моделью является автономный индивид, полагающий себя и ответственный перед самим собой, неисчерпаемый социальными ролями, постоянный источник социокультурных инноваций. Оформление и трансляция модели осуществляется с помощью дискурсивных практик, фиксирующих нормативные позиции индивида в различных полях социокультурного пространства: в философско-теоретическом поле – позиция *субъекта*, в социально-педагогическом поле – позиция *личности*, в экономическом поле – позиция «*экономического человека*» (как он описан, например, у Адама Смита) и т.д.

Под *дискурсом субъективности* (или *персональности*) понимается система понятий, категорий, метафор, тематических полей и стилевых форм, посредством которых конституируется специфическая модель субъекта культуры модерна преимущественно в пределах философско-теоретического поля [9]. Данная статья посвящена исследованию следующих вопросов: в каких социокультурных условиях этот дискурс формировался в русской культуре? Какая среда (или группа) была его транслятором? По каким специфическим принципам организована дискурсивная модель субъекта?

В русской культуре дискурс субъективности стал формироваться в первой половине XIX века как результат заимствования категорий западной культуры и долгое время оставался и разрабатывался в пределах рафинированной интеллектуальной среды, не находя социальной базы в пространстве повседневных и повсеместных массовых практик. Проблемы самопознания, свободы личности и ее нравственного самоограничения, соотношения общественного и индивидуального осознавались как *проблемы* достаточно узким кругом образованного дворянства, находящегося под влиянием социально-политических идей Просвещения и философско-эстетических концепций романтизма.

В истории становления дискурса субъективности можно выделить два периода – романтический и реалистический. Условная временная граница между ними – 1840-1842 годы (время расставания В. Г. Белинского с «примиренческими» иллюзиями и А. И. Герцена – с иллюзиями религиозными). Философско-теоретической границей и своеобразной буферной зоной между двумя этапами стало учение Гегеля в его русской, «станкевиче-бакунинской», интерпретации. У каждого из этих периодов (и моделей личности) были свои философско-теоретические, эстетические, жизненные источники и пристрастия, но последний, реалистический, представляет диалектически-закономерное развитие первого, результат пересмотра разработанных в романтизме категорий.

Романтизм утверждал ценность личности в фигуре индивидуального художника-творца, неограниченного в своем творчестве какими-либо классическими образцами. Эстетическая деятельность в работах философов-романтиков рассматривалась как сфера безграничного самоопределения, акт свободы, рефлексии и постоянной новации, исходящей от полагающего себя субъекта. Освобождаясь от навязанных «толпой» уз, в том числе рациональности, субъект творчества обнаруживает внутри себя высшее, божественное начало, сверхличную интуицию.

Основой романтического сюжета и романтической поэтики был, как известно, конфликт между внутренним миром романтического героя, исключительной личности, и внешними обстоятельствами социальной или природной среды. Романтический герой обладал вполне определенным набором исключительных, «предельных» свойств: независимость мнения, готового сокрушать общественные стереотипы; воля, способная пренебрегать инстинктом самосохранения; честолюбие, которое не может довольствоваться уступками «внешней жизни»; нежелание отождествлять себя с принятыми социальными классификациями и др. Представление о неисчерпаемости личности социальными ролями парадоксально оформилось в романтизме в унифицированный набор свойств, воплощенный в ограниченном репертуаре типовых ролей («байронический герой», «изгнанник», «беглец», «гусар» и др.). Отрицание классических образцов оборачивается утверждением образца *антиклассического* – внешнего, идеального и почти обязательного.

О театральном и игровом характере романтического жизнотворчества подробно писали Ю. М. Лотман [8], Л. Я. Гинзбург [7], Т. А. Чебанюк [10]. Подражание романтической роли часто было лишь данью моде и не соответствовало психологическим особенностям исполнителя. Само исполнение роли предполагало наличие сцены и публики – светского и литературного салона, домашнего круга, дружеского кружка. Вне сцены оставалось огромное многообразие жизненных пространств и практик, к которым романтическая маска не подходила. Можно сказать, что романтическое жизнотворчество поместило границу между жизнью и искусством в повседневное пространство, разделив его на сценическое и внесценическое, но саму границу не преодолело и не решило вопроса целостной субъективной идентификации.

Т. А. Чебанюк считает, что альтернативу романтическому репертуару, более полно охватывавшую субъективный мир образованного дворянства, представляла модель «человека просвещенного»: «отношение —человека просвещенного» и «человека разочарованного» к их идеальным парадигматическим моделям (образцу) определяется разными алгоритмами: *идеалу первого нужно было следовать, а идеалу второго – подражать*» [Там же, с. 265]. Следование парадигме «человека просвещенного» предполагало гражданскую деятельность, направленную на усовершенствование российского общества и государства в соответствии с идеологическим проектом Просвещения: освобождение крестьян и устройство рационального хозяйства в отдельно взятом поместье (сейчас бы это назвали теорией «малых дел»); общенародное образование и воспитание, направленное на искоренение невежества в среде крепостных; просветительская деятельность по отношению к государству и направление его в русло прогрессивных реформ; наконец, радикальный проект декабристского переворота.

Родство декабризма с романтическим мировоззрением – вопрос достаточно исследованный. Тайный круг избранных людей, решившихся на революционный переворот с целью скорого преобразования общества, – это идеальный романтический сценарий, который обнаружил свое несоответствие индивидуальным особенностям многих его участников и сложившимся обстоятельствам. Но последующая после восстания николаевская эпоха раскрыла такой же идеальный характер либерального просветительства и парадигмы

«просвещенного либерала». Государство, сам государь и устройство русской жизни – все то, что, как казалось просветителям, они хорошо знают и на что могут воздействовать, – обернулось реальностью, исключавшей какие-либо просветительские надежды.

Можно сказать, что романтизм радикализовал просветительский проект, обнаружив тем самым его фундаментальную противоречивость: романтический дуализм, его антитезы и непримиримые контрасты (внутреннего и внешнего, идеального и низменного, разума и чувства, единичного и всеобщего) продемонстрировали неспособность просветительского разума справиться с «неразумной» действительностью, разрушили однонаправленную ось познания и действия между субъектом и объектом.

Дискурс личности, пришедший на смену просветительским и романтическим парадигмам человека, складывался в попытках разрешения накопленных противоречий. Философским методом этого разрешения стало учение Гегеля, литературным – реализм.

Философия Гегеля стала идейной основой московского философского кружка, сплотившегося в 1830-е годы вокруг Николая Станкевича и Михаила Бакунина. Третьей значимой фигурой кружка был Виссарион Белинский, не знавший немецкого, знакомый с гегелевской системой только по пересказам Станкевича и Бакунина, какое-то время сильно подверженный их авторитету, но сумевший перевести отвлеченную философскую систему на актуальный язык публицистики и литературной критики. Учение Гегеля о диалектическом преодолении противоречий вооружило интеллектуалов 1830-1840-х инструментарием для поиска корреляций между внутренним миром и внешней действительностью, направило их силы на *анализ* взаимной соотнесенности субъекта и объекта.

В противовес романтическому бунту против действительности русские гегельянцы, согласно императиву синтеза субъективного и объективного духа в Абсолютном духе, стремились примирить разум и действительность. Формула «все разумное – действительно» и многозначный язык гегелевской диалектики инициировали умы на поиск философского познания глубинных принципов окружающей действительности, ее *истины*, делавшей возможной ее субъективное обоснование. Провал романтиков-декабристов породил в русской интеллектуальной среде (правда, на короткое время – 1830-е годы) позыв к примирению с социальной реальностью николаевской эпохи. Гегелевский инструментарий, особенно в интерпретации его «старогегельянских» немецких последователей, давал хоть какие-то механизмы для этого примирения.

Однако примирение носило сугубо спекулятивный, теоретический характер – важным оказалось не само примирение, но поиск его субъективных, смысловых оснований. Действительность, не определенная как «истина», «объективная необходимость» которой не раскрыта, не явлена субъекту, не может быть наделена статусом *истинной*. «Субстанция» как подлинная сущность человека может быть познана и реализована только в пространстве философской рефлексии субъектом, оторвавшимся от своих частных определений – «моментов», как говорили в кругу Станкевича – Бакунина. Белинский в письме к Д. П. Иванову сформулировал эту дихотомию в форме прямого жизненного предписания: «Брось свою политическую экономию и статистику: всякое частное знание унижает, опошляет человека; мысль, или идея, в ее безразличном, всемирном значении – вот что должно быть предметом изучения человека» [2, с. 146].

Одним из негативных качеств, раскрывающих слабость романтической личности, признавалось «прекраснодушие» (*Schönseeligkeit*) – обращенность души к нереальным, призрачным мечтам и иллюзиям, неукорененность в действительности. «Действительность есть поприще настоящего, сильного человека, – писал Н. В. Станкевич, – слабая душа живет в *Jenseits*¹, в стремлении, и в стремлении неопределенном; ей нужно что-то (потому что в ней нет ничего определенного, что бы составляло ее натуру и потребность). Как скоро это неопределенное сделалось *etwas*², определенным, душа опять выбивается за пределы действительности» [1, с. 236]. В данном отрывке заметно, что требованием к личности становится *определенность в действительности*, контрастирующая с романтической *исключительностью*. Романтическая маска предполагала негативное определение *a contrario*³ – субъект демонстрирует невключенность в систему классических дефиниций и ролей, но не находит при этом своего определенного содержания (можно назвать это негативной идентификацией). Романтическая роль, как уже было сказано, не соответствовала психологическим особенностям многих ее исполнителей, часто была модным подражанием и поэтому была названа и отвергнута членами философского кружка как неискренность, «фраза», «ходульность». Новое понимание субъективности требовало полного ее отождествления с символической системой выражения (пока еще этой системой был язык философских категорий), следовательно, глубинного изучения себя, внутренней и коллективной работы по самоопределению. Отсюда практика «выговаривания», «самовникания», предполагающая самоуглубление, самоанализ и чрезвычайную откровенность в дружеских разговорах и переписке.

Романтическая роль разделяет субъекта на репрезентативную и скрытую от репрезентации части. Они могут быть в противоречии друг с другом, как, например, разделялись Белинским личность Лермонтова и стиль его поведения: «Он, кажется, нарочно щеголяет светскою пустотою» [5, с. 233]. Репрезентативная, театральная часть может полностью нивелировать подлинную субстанцию человека, тогда речь идет о человеке «фразы», о «хлестаковщине». Ответом становится требование целостности субъективной репрезентации, утверждение связи между философскими идеями, эстетической деятельностью и жизнью. Станкевич, к примеру, говорил о необходимости «жить целою натурою», о применении философии и искусства к собственной жизни: «Все, что есть благородного, прекрасного, все, что влечет к себе, напоминает прежде всего: рассчитайся с жизнью, с людьми; уладь сию же минуту все вокруг тебя; иначе твое наслаждение великим – призрак!» [1, с. 262].

¹ Потустороннее (нем.).

² Нечто (нем.).

³ От противного (лат.).

Императив целостности и связи философской теории с жизнью обусловил обращение членов гегелевского кружка к интерпретации мельчайших подробностей повседневной жизни с точки зрения философской теории. Язык гегелевской диалектики накладывался на личные психологические переживания, семейные, дружеские, любовные взаимоотношения, обыденные практики. Само их существование могло быть обосновано только включением в систему философских коннотаций. Скрупулезному исследованию, обсуждению и гласной оценке подверглись обычно скрытые от других, даже близких друзей, стороны частной жизни. Примером может служить откровенная переписка Белинского с Михаилом Бакуниным 1837-1839 годов, в которой объектами анализа, «выговаривания», саморазоблачения стали подробности пищеvarения, походы «к Никитинским воротам», онанизм и вместе с тем сложные любовные чувства и взаимоотношения внутри московского философского кружка и семейств Беер и Бакуниных. Как отметила Л. Я. Гинзбург, «Бакунин и его друзья занимались философским осмыслением этих перипетий, которые у людей пушкинского времени и круга могли бы вызвать только усмешку» [7, с. 50].

Однако этот опыт был важным этапом в процессе *субъективной семантизации* мира – осмысления личностью своего места в действительности посредством соотнесенной с субъектом символической системы. Впоследствии П. В. Анненков напишет о русском гегельянстве в его интерпретации Бакуниным: «Смысл, который система Бакунина отыскивала не только в политических, но даже в будничных эфемерных явлениях текущего дня, действительно был произвольный и навязанный им насильно, *но все-таки это был смысл (курсив автора статьи – А. И.)*, для усвоения которого следовало еще многому поучиться и о многом подумать» [5, с. 350]. Гегельянство в таком его понимании требовало полного подчинения субъекта Абсолютному духу, т.е. растворения всего частного, индивидуального («моментов») в обезличенной системе всеобщих категорий, но при этом оно выносило и другие требования, которые останутся актуальными после отказа от «примирения»: личность должна соотносить свою жизнь с системой осознаваемых смыслов; эти смыслы нужно извлечь из действительности, они не предостоят в ней непосредственно, но составляют некие скрытые глубины; личность должна работать над собой, *культивировать себя*, чтобы все стороны ее жизни были символически детерминированы.

Преклонение перед безличной истиной всеобщего духа в данной среде, видимо, не могло продолжаться долго. Белинский в самый разгар своих «примиренческих» настроений (1839-1840 гг.) высоко ценил талант Лермонтова: «Белинского это ужасно мучило. Он видел, что начинающий поэт обнаруживает громадные поэтические силы; каждое новое его стихотворение в «Отечественных записках» приводило Белинского в экстаз, – а между тем в этих стихотворениях примирения не было и тени» [Там же, с. 257]. В конце концов камнем преткновения стал вопрос о месте личности в гегелевской системе, вынужденной покоряться объективной необходимости и быть покорным выражением всеобщего разума и высшей идеи. К этому подталкивало и прочтение появившихся переводов младогегельянцев и критиков Гегеля из «Галльского ежегодника», и собственно эстетический вкус, не способный окончательно примириться с принципом «искусство для искусства», и, наконец, отношение к российской действительности, безусловное принятие которой противоречило всему личному опыту критика. В письме к В. П. Боткину 1841 г. Белинский отрекается от гегельянства и всех связанных с ним предписаний, которым верно следовал: «Глупцы врут, говоря, что Гегель превратил жизнь в мертвые схемы; но это правда, что он из явлений жизни сделал тени... Субъект у него не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это общее является у него в отношении к субъекту Молохом, ибо, пощеголяв в нем (в субъекте), бросает его, как старые штаны» [3, с. 22]. На протяжении всей переписки с друзьями 1841 года Белинский отказывается каким-либо всеобщим, субстанциальным началам и объективным закономерностям истории в праве насилия над субъектом.

А. И. Герцен никогда не был под сильным влиянием философского кружка и тем более его «примиренческих» настроений. Философию Гегеля он осваивал в своем круге вместе с Т. Н. Грановским и Н. П. Огаревым. В результате он пришел к тем же выводам, что и Белинский. Здесь также заметно влияние младогегельянцев, и особенно Августа Цешковского, но многое в позиции Герцена исходит из его личной биографии, тесно связанной с его политическими взглядами. В философско-теоретической форме Герцен сформулировал свой взгляд на личность в статье «Буддизм в науке», опубликованной в «Отечественных записках» в 1843 году.

Учение Гегеля о всеобщем отождествляется Герценом с универсальной позицией научного знания как сферы абстракции, требующей нивелирования частного, индивидуального: «Оглашенный наукой должен пожертвовать своей личностью, должен ее понять не истинным, а случайным...» [6, с. 65]. Сфера науки как самопознающий дух освобождает мысль мира от событий мира, снимает противоположности бытия, обнаруживая их сущностное, диалектическое единство. Но наука не может быть целью в самой себе, когда она достигает высшей точки, она преодолевает себя. Герцен прибегает к диалектическому инструментарию Гегеля, чтобы представить личность в ее конкретно-исторической реализации как исторический синтез природной непосредственности и научной рациональности. Природа как непосредственное бытие, все более углубляясь и дифференцируясь, развивается в многообразии человеческих я; личность человека, преодолевая природную непосредственность, осваивает всеобщее, родовое, разумное в науке; затем личность возвращается к конкретной действительности, чтобы действовать в ней, исходя из внутреннего знания о всеобщем, и вместе с тем реализовать свою сингулярность. Высшим синтезом, по Герцену, выступает нравственное и разумное деяние свободного человека, руководствующегося универсальными идеями, но всегда поступающего *по-своему*: «В разумном, нравственно свободном и страстно энергическом деянии человек достигает действительности своей личности и увековечивает себя в мире событий. В таком деянии человек вечен во временности, бесконечен в конечности, представитель рода и самого себя, живой и сознательный орган своей эпохи» [Там же, с. 71]. «Действование» личности осуществляется в конкретном историческом времени, оно обусловлено условиями исторической ситуации, но должно руководствоваться разумным

представлением о должном будущем, можно сказать, разумным произволом личности. Если и идет речь о примирении сознания и бытия, то это не поиск оправданий наличного порядка дел, а изменение его в соответствии с идеями и идеалами науки и разума: действительность должна стать разумною.

Сходные положения находим в письмах Белинского 1841 г., где они тесно связываются с личной историей автора: «Я теперь совершенно сознал себя, понял свою натуру: то и другое может быть вполне выражено словом *Tat*¹, которое есть моя стихия» [3, с. 13]. Такую же эволюцию претерпел Бакунин, в 1839 году переехавший в Германию и там познакомившийся с Арнольдом Руге и французской социалистической литературой. В его немецких статьях начала 1840-х находим левогегельянский поворот от примирения к действию: «Жить – значит не только умствовать, но быть, а это значит – быть действительно действительно деятельным; ведь только дело есть жизнь...» [11, с. 125] (Бакунин, видимо, был первый из описываемого нами круга, кто активно включился в практическую революционную деятельность).

Освоение дискурса субъективности было связано с изменением публичной сферы – переходом от салонных практик общения к прессе и «толстым» журналам как к пространству публичных дискуссий. Концепция литературного журнала, имеющего свою эстетическую и социальную позицию и выражающего ее в выборе публикуемых произведений, критических и философских статей, обзоров, очерков, рецензий, а главное, авторов, способных последовательно с разных сторон придать журналу единое, уникальное лицо, соотносится с императивом целостности, единства субъекта.

Кроме того, поле русской литературы в первой половине XIX века было тем пространством, где компенсировалось отсутствие публичной сферы и в единственно возможной форме эстетических манифестаций осуществлялось публичное обсуждение социальной реальности. Субъект осмысливал общество и артикулировал свою позицию в нем сквозь призму художественных образов. Поэтому литература и литературная критика приобрели форму разговора о социальном целом. В то же время этот разговор завуалирован, подчинен цензуре и потому оперирует эвфемизмами – форма выражения не соответствует прямому значению, предполагая субъектом. Неравноценность между означаемым и означаемым формировала субъективное чувство недосказанности, личностной нереализованности – так Белинский, судя по воспоминаниям И. И. Панаева, относился к своей журналистской деятельности в конце жизни: «Ну какой я литературный критик! Я рожден памфлетистом – и не смею пикнуть о том, что накопело в душе, отчего сердце болит!» [5, с. 213].

Литературное творчество и литературная критика 1830-1840-х годов также испытали на себе влияние гегельянства. Проводником этого влияния была критика в лице Белинского, переносившего усвоенные им от Станкевича и Бакунина философские идеи на страницы своих статей и представлявшего анализ конкретных явлений литературы с точки зрения гегелевских категорий феноменологии духа. «Школа Гегеля» (здесь нужно упомянуть и предшественника Белинского – Н. И. Надеждина) сформировала ставший нормативным взгляд на произведение как на художественную целостность, обусловленную воплощением в соответствующей форме единой, скрепляющей идеи. В разборе «Героя нашего времени» Белинский высказывает эту мысль, используя характерный философский категориальный аппарат и конструкцию фраз: «Сущность всякого художественного произведения состоит в органическом процессе его явления из возможности бытия в действительность бытия. Как невидимое зерно, западает в душу художника мысль, и из этой благодатной и плодородной почвы разветвляется и развивается в определенную форму, в образы, полные красоты и жизни, и наконец является совершенно особым, цельным и замкнутым в себе миром, в котором все части соразмерны целому, и каждая, существуя сама по себе и сама собою, составляя замкнутый в самом себе образ, в то же время существует для целого, как его необходимая часть...» [4, с. 88-89]. Показательно, что в цитируемом отрывке субъективное начало сведено к минимуму, точнее, к страдательному лицу; активной ролью наделена сама мысль, которая, являясь выражением объективного Духа, «западает в душу художника», «разветвляется и развивается» и, наконец, «является» в замкнутом и целостном, «в самом себе образе». Следовательно, целостность есть продукт истинной действительности объективного Духа и ее беспристрастного созерцания и воплощения художником, оценка которого производится по способности рефлексировать и транслировать надсубъективную истину – идею.

В критических статьях последних лет жизни позиция Белинского принципиально меняется – источником художественной целостности становится субъект, его, можно сказать, демиургическая воля. Чтобы отразить истину в искусстве, поэт, пишет Белинский, «должен проникнуть мыслию во внутреннюю сущность дела, отгадать тайные душевные побуждения... схватить ту точку этого дела, которая составляет центр круга этих событий, дает им смысл чего-то единого, полного, целого, замкнутого в самом себе» [3, с. 267]. Иными словами, субъективность писателя, а затем читателя, должна оказаться в центре «круга событий»; совокупность фактов, лиц, образов должна быть интегрирована с точки зрения субъекта, вокруг него. Белинский поддерживает и приветствует выражение субъективного отношения художника к его материалу (что прямо им отвергалось в период «примирения») – именно это отношение организует факты действительности в художественную целостность.

Источником смыслов как оснований эстетической интеграции является, в отличие от романтизма, не произвол творца, «не та субъективность, которая, по своей ограниченности или односторонности, искажает объективную действительность изображаемых поэтом предметов» [4, с. 105], а сама действительность – социальная реальность как взаимодействие множества отдельных индивидов, подчиненная объективным, раскрываемым в искусстве законам общественного развития. Апологет реализма и теоретик «натуральной школы» Белинский постулирует необходимость соответствия литературного произведения современным социальным интересам, «согласия с духом и потребностью времени». В период 1840-х годов Белинский разрабатывает концепцию *типического характера* как индивидуального воплощения актуальной социальной среды

¹ Действие (нем.).

и обстоятельств. Как типические характеры были интерпретированы критиком образы Евгения Онегина и Татьяны Лариной, Печорина, герои «Мертвых душ» и другие, по Белинскому, представлявшие в индивидуальных лицах ключевые конфликты российского общества, точнее, конфликты между личностью и общественным порядком. Так формулировалась проблема социально-психологического детерминизма – корреляции между внутренним миром личности и социальными обстоятельствами ее воспитания и окружения – проблема, ставшая центральной для литературы реализма.

Итак, становление дискурса персональности в русской культуре 1830-1840-х годов происходило в процессе разрешения философско-эстетически противоречий романтизма и социокультурных противоречий николаевской, постдекабристской эпохи. Семантика дискурсивной модели субъекта, т.е. более или менее нормированные границы понимания того, что такое личность, определялась влиянием немецкой идеалистической философии (главным образом Гегеля) и формированием реалистических тенденций в литературе. Совокупным воздействием этих систем был обусловлен набор принципов, характеризующих нормативное содержание понятия субъективности:

1) *определенность субъекта в действительности* – принцип, описывающий взаимосвязь внутреннего мира личности и внешнего мира действительности: смыслы, которыми руководствуется субъект, должны исходить из действительности, т.е. быть результатом познания объективного мира. Субъект не должен быть «прекраснодушен», т.е. навязывать миру объективно не присущие ему свойства. Этот же принцип утверждает и обратную детерминацию: действительной, истинно существующей может быть признана та реальность, которая осознана, легитимирована, интегрирована в мир субъекта;

2) *целостность субъекта* – принцип единства внутреннего мира личности и ее внешних социальных проявлений. В ту эпоху в этом значении использовался термин «консеквентность», обозначающий последовательность в понятиях и поступках человека. Убеждения, которых придерживается субъект, должны быть реализованы в самом его образе жизни, в круге общения, во внешнем облике и исполняемых социальных ролях. Важнейшей задачей субъекта становится приведение в соответствие единому знаменателю ментальных и эмоциональных аспектов психического мира. Субъективность, таким образом, становится на место той всеобщей идеи, которая, проявляясь в многообразии своих определений, обеспечивает единство по образцу эстетической целостности;

3) *деятельная природа субъекта* – субъект как личность, руководствующаяся объективным познанием конкретно-исторической действительности, всеобщими идеями Разума и своей собственной конкретной натурой, осуществляет себя в свободном действии. В эстетической сфере он организует факты и события действительности, исходя из собственной интерпретации их взаимосвязей. В социальном действии субъект организует окружающую действительность в соответствии со своими представлениями о должном социальном устройстве. При этом эстетическая организация и социальное действие конституированы интересубъективными процессами – «эмпатией» художника в психологию своих персонажей и представлениями социального актора о «всеобщем благоденствии» множества индивидов.

Список литературы

1. **Анненков П. В.** Николай Владимирович Станкевич: переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым. Воронеж: Кварта, 2013. 368 с.
2. **Белинский В. Г.** Полное собрание сочинений. М.: Академия наук СССР, 1956. Т. 11. Письма. 1829-1840. 718 с.
3. **Белинский В. Г.** Полное собрание сочинений. М.: Академия наук СССР, 1956. Т. 12. Письма. 1841-1848. 596 с.
4. **Белинский В. Г.** Статьи о Пушкине, Лермонтове, Гоголе. М.: Просвещение, 1983. 271 с.
5. **В. Г. Белинский в воспоминаниях современников.** М.: Художественная литература, 1977. 733 с.
6. **Герцен А. И.** Собрание сочинений: в 30-ти т. М.: Академия наук СССР, 1954. Т. 3. 370 с.
7. **Гинзбург Л. Я.** О психологической прозе. М.: Intrada, 1999. 413 с.
8. **Лотман Ю. М.** Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX в.). СПб.: Искусство-СПб, 1994. 558 с.
9. **Плотников Н. С.** От «индивидуальности» к «идентичности» (история понятий персональности в русской культуре) // Новое литературное обозрение. 2008. № 91. С. 64-83.
10. **Чебанюк Т. А.** Парадигма «человека просвещенного» в русской культуре конца XVII – первой четверти XIX века. Хабаровск: Дальневосточная государственная библиотека, 2007. 382 с.
11. **Чижевский Д. И.** Гегель в России. СПб.: Наука, 2007. 411 с.

FORMATION OF DISCOURSE OF SUBJECTIVITY IN THE RUSSIAN CULTURE OF THE 30-40S OF THE XIX CENTURY

Ivanov Andrei Anatol'evich, Ph. D. in Art Criticism
Komsomolsk-on-Amur State Technical University
larsandr@mail.ru

In the article the process of the formation of personality discourse in the Russian culture of the first half of the XX century is considered. Social environment and the key figures that took part in the production of discourse are identified; the romantic and realistic stages of the discourse formation are singled out and characterized. The author focuses on the philosophical and literary factors of transition from the «romantic» model of subject to the paradigm of a «real human».

Key words and phrases: subject; object; discourse; reality; integrity; symbolic integration.